

НЕПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ К АВТОРИТЕТАМ

(Демократия в Америке, *Ал. Токвилля*, член института. Перевел А. Якубович. Т. I и II. Киев. 1860 г.)

О переводе г. Якубовича никак нельзя сказать, что он хорош. Он сделан небрежно, а еще хуже то, что переводчик, как видно, не знает самых обыкновенных терминов политического устройства, да и многих самых обыкновенных оборотов французского языка. Вот примеры из IV главы (в переводе г. Якубовича, т. I, стр. 63—67). Токвилль говорит, что до войны за независимость принцип верховной власти народа коренился в муниципальных делах северо-американских колоний; а когда вспыхнула революция, он стал господствовать и в правительстве колоний: *toutes les classes compromirent pour sa cause*, то есть: все сословия безвозвратно признали его или сделались его защитниками; а г. Якубович переводит: «вследствие этого пали сословия». *Vote universel* или *suffrage universel*, то есть всеобщее право подачи голосов, он переводит: «общественное мнение», — это недоразумение попадает несколько раз на страницах, пересмотренных нами. Например, Токвилль говорит: «штат Мериланд, основанный вельможами, первый провозгласил всеобщее право вотирувания»; г. Якубович переводит: «штат Мериланд, основанный богатыми и знатными переселенцами, первый провозгласил господство общественного мнения». Несколькими строками дальше Токвилль говорит, что если какой-нибудь народ начал понижать электоральный* ценз, понижение пойдет непременно до совершенной отмены ценза, потому что с каждой новой уступкой растут и силы, и требования демократии; сказав это, Токвилль выражается следующим образом: честолюбие людей, оставаемых ниже ценза, раздражается соразмерно многочисленности людей, находящихся выше ценза (*l'ambition de ceux qu'on laisse au-dessous du cens s'irrite en proportion du grand nombre de ceux qui se trouvent au-dessus*), а г. Якубович переводит: «самолюбие

* Избирательный. — *Ред.*

остающихся под властью цензура раздражается по мере увеличения числа тех, которые находятся вне этой власти». Очевидно, г. Якубович, когда переводил эти страницы, не понимал одно из самых употребительных значений глагола *se compromettre*, не имел понятия о смысле терминов: «всеобщее право подачи голосов» и «избирательный ценз». Пробовали мы сверять с подлинником и другие места перевода, везде выходит одно и то же. А очень жаль, что книга Токвиля об американской демократии переводится человеком, который не знает ни предмета, в ней излагаемого, ни французского языка. Мы советовали бы г. Якубовичу не печатать остальной половины его перевода (два изданные тома заключают в себе ровно половину подлинника). Сочинение Токвиля занимает такое видное место в политической литературе, что заслуживало бы хорошего перевода.

Успех этой книги во Франции был громадный. Г. Якубович делал перевод с 12-го издания, а у нас под руками 13-е, на котором выставлен еще 1850 г., — с той поры, вероятно, было еще несколько изданий. Да и не в одной Франции приобрела эта книга Токвиля очень большой успех и авторитет; англичане, немцы часто ссылаются на нее. Действительно, в ней много верного, хорошего и очень полезного, гораздо больше, чем в последнем знаменитом сочинении Токвиля «Старый порядок и революция», где основная мысль фальшива и портит все. В сочинении, перевод которого так прискорбно начат г. Якубовичем, основная тенденция верна. Она очень недурно объяснена в коротеньком предисловии, которое, неизвестно зачем, оставил без перевода г. Якубович, хотя оно сделано именно к 12-му изданию, с которого переводил он.

«Книга эта, — говорит Токвиль в предисловии; — была написана 15 лет тому назад (12-е издание вышло в 1848 г.) под постоянным влиянием одной мысли, что быстро, непреодолимо повсюду в целом свете, приближается господство демократии. Я предсказал это, — продолжает Токвиль, — когда во Франции конституционная монархия с господством буржуазии казалась прочна. Теперь (в 1848 г.) книга моя получает от обстоятельств настоящего практическую полезность, какой не имела во время первого издания. Американские учреждения, бывшие только предметом любопытства для монархической Франции, должны быть предметом изучения для республиканской Франции. Вопрос теперь о том, спокойствие или волнения будут у нас при республике, демократическая тирания или демократическая свобода. Задача, эта, только еще представляющаяся нам, разрешена Америкой с лишком 60 лет тому назад. 60 лет владычествует там безраздельно принцип верховной власти народа, лишь на-днях провозглашенный нами. Он там применен к делу прямым, безграничным, безусловнейшим образом. 60 лет народ там безостановочно возрастает числом, обширностью государства, бо-

гитством и, заметим, во все это время он пользовался не только наибольшим благосостоянием, но и наибольшим спокойствием из всех народов на земле. Все европейские нации страдали от войны или внутренних раздоров, — американский народ один в цивилизованном свете оставался мирен. Почти вся Европа была потрясена революциею; в Америке не было даже и мелких смутений. Анархия и деспотизм оставались равно неизвестны ей. Где можем найти мы лучшие надежды и лучшие уроки? Обратим наши взоры на Америку, — не для того, чтобы рабски копировать учреждения, какие она дала себе, а для того, чтобы лучше понять, какие годятся для нас; чтобы заимствовать из Америки не столько примеры, сколько уроки. Французские законы могут и должны во многих случаях быть различны от северо-американских; но принципы, на которых основано американское устройство, эти принципы порядка, уравновешения властей, искреннего и глубокого уважения к праву — необходимы».

Достоинство книги Токвиля больше всего зависело от этой патриотической и здоровой мысли — изучать американские учреждения с целью пользоваться знанием их для хорошего устройства французских дел. Но те же самые, переведенные нами главные места предисловия, в которых высказывается идея сочинения, обнаруживают и неудовлетворительность его.

Мы не станем говорить о второстепенных недостатках. Токвиль слишком любит философствовать, а философом не пришлось ему воспитаться, быть может, не удалось и родиться; поэтому его философствование выходит очень поверхностным резонерством на темы, почерпнутые главным образом из Монтескье. Вся вторая половина сочинения (о гражданском быте Северной Америки) набита этим резонерством, которое мы назвали бы необыкновенно скучным, если б множество изданий не свидетельствовало, что публика (по крайней мере, французская) читала книгу легко и с удовольствием. Иной раз скука заменялась у нас веселым смехом, — до таких наивностей договаривается наш философ. Вдруг ему, например, показалось, будто «по достоверным известиям» узнал он такую вещь, что «в Америке, самой демократической стране на земном шаре, католицизм преуспевает, как нигде на свете». — «Это удивительно на первый взгляд», *cela surprend au premier abord*, произносит он, да оно и точно было бы удивительно, если б сколько-нибудь было похоже на правду, а в действительности удивительно лишь то, как поверил Токвиль такой нелепице. Но он тотчас же оправляется от недоумения, начинает философствовать и находит, что американские учреждения чрезвычайно располагают людей к принятию католичества, к которому на самом-то деле быстро становится равнодушен самый фанатический ирландец, переселившись в Америку. А то вдруг начнет философствовать о классической литературе и рассудит, что Америке грозят от греческого и латинского

языков две ужаснейшие опасности: станут американцы учиться классическим языкам, явятся у них граждане «очень изящные и очень опасные, которые во имя греков и римлян будут волновать государство». Не станут учиться американцы классическим языкам, тоже будет плохо: «нет литературы, которую больше классической следует изучать в демократический век». Как же тут быть американцам? и не читать Цицерона — нельзя, и читать Цицерона — беда? А вот как: в университетах надобно «превосходно» учить по-гречески и по-латыни, а в гимназиях вовсе не учить. Слава богу, спасена Америка. «Впрочем, — прибавляет Токвиль в заключение, — я не считаю литературные произведения древних безукоризненными», — как нужно было поопределительнее высказать свое мнение о достоинствах классической литературы при описании гражданского устройства Северной Америки. Таких штучек у Токвиля найдется много; но от них его книга страдает немногим больше того, сколько может пострадать Северная Америка от преподавания или не преподавания греческого языка в гимназиях. Подобные мелочи могут только пособить нам разглядеть, что автор книги не такой уже гениальный мыслитель, каким провозглашен и у нас. А сама книга и при них все-таки может остаться хорошей.

Гораздо важнее другой недостаток, портящий собою лишь часть рассуждений Токвиля об Америке, но потом испортивший всю книгу его о «Старом порядке и революции во Франции». Он сбился с толку на пункте, от которого произошла такая же, только в противоположном направлении, путаница понятий у многих наших ученых. Токвиль видел на своей родине демократию рядом с централизацией. Не разобрав, что это — два явления разных периодов и совершенно разных тенденций, он вообразил, что демократия и централизация имеют необыкновенное дружеское влечение друг к другу, что они даже чуть ли не одно и то же. Точно то же вообразилось и целой школе наших ученых. Но расположение чувств у них и у него оказалось разное. Наши ученые из любви к одному принципу начали восхищаться и другим¹. Токвиль из нерасположения к одному с грустною недоверчивостью стал смотреть и на другой. Он готов сочувствовать демократическим учреждениям, но ужасно пугает его их необыкновенная склонность к централизации. Когда он писал книгу об Америке, торжество демократии во Франции казалось ему не очень близко, и он справлялся еще кое-как с опасением своим, что она усилит и увековечит централизацию. Сочинение о «Старом порядке» писал он уже после событий 1848 г., и, воображая, что уже осуществилось его опасение, совершенно растерялся от ужасной неизбежности централизационных страданий для его милой родины. Бедняга дошел до того, что видит преобладание вреда над пользою во французских событиях конца прошлого века: конституционное собрание, законодательное собрание, кон-

Вент каждым отменением привилегий и феодальных учреждений только усиливали, по его мнению, централизацию, только все глубже и глубже ввергали Францию в эту бездну, в которую, по его мнению, очень любит падать демократия. Все это огорчение произошло от одного небольшого недосмотра: Токвиль не разобрал, что произвольная власть очень хорошо обходится и без централизации. В Турции, например, не слишком много централизации: правитель каждой области — полновластный хозяин в ней; каждый подчиненный ему паша также полновластный хозяин в своем округе, каждый кади тоже полновластный хозяин в своем квартале и каждый чауш — во всяком доме, куда пошлет его кади². Кажется, уж нельзя тут жаловаться на централизацию, уж подлинно каждый клочок земли одарен управлением, действующим самостоятельно: не дальше как за версту откуда бы то ни было найдется власть, которая может решить сама собою всякую вещь: и преступника наказать, и тяжбу рассудить, и всякое общественное дело совершить, не спрашиваясь высшего начальства. Но Токвиль этого не рассудил: ему вообразилось, что без централизации не бывает и деспотизма.

Кто же ввел полную централизацию во Франции? Ввели ее национальные собрания конца прошлого века (на самом деле не они, а Наполеон I, но так уже показалось Токвиллю); значит, они-то и подвергли Францию полнейшему деспотизму. Но опять видит он, что произвольная власть была во Франции и до революции; а произвольная власть без централизации не обходится, по его мнению; стало быть, все формы произвольной власти при старом порядке были централизациею; и выходит у него, что при старом порядке тоже господствовала централизация. В каждой провинции были свои законы, в каждой были не такие налоги, как в других, каждая отделялась от других таможенною цепью, каждый интендант пользовался по многим делам законодательною властью в своей провинции, распоряжался с нею во всем совершенно, как хотел, не спрашиваясь парижского правительства; каждый из 12 областных парламентов претендовал иметь верховную власть, кассировать постановления парижского правительства; многие города претендовали на такое же право (только и парламенты, и городские власти арестовывались и разгонялись по благоусмотрению все того же интенданта, имевшего всю фактическую власть), — кажется, ничего похожего на централизацию тут нет; а Токвиллю все мерещится централизация в этих интендантах и субинтендантах³, бывших пашами в своих провинциях. Года два или три тому назад мы при разборе «Очерков Англии и Франции» г. Чичерина имели случай объяснить источник этой ошибки⁴. Новые принципы государственной жизни еще не настолько развились во Франции, чтобы уничтожить все следы старого порядка, противоположного им; во Франции только еще начинается весна: в иных местах уже

показалась зелень, кое-где проглядывают уже и цветки, а в других местах еще лежит снег. Токвиль и многие другие очень основательно заключили из этого, что роскошная растительность развивается на снегу, и чем будет роскошнее она, тем толще будет слой снега, одевающего покрытую растительностью страну.

При старом порядке существовал безграничный, совершенно хаотический произвол. Новые принципы законного порядка еще не достигли той степени торжества над ним, чтобы вовсе устранить его, а до сих пор успевали лишь несколько обуздывать его подчинением хотя некоторой форме. Формой этой пришлось быть, по особенным историческим обстоятельствам, централизационному принципу. У областных правителей произвол совершенно отнят централизациею: префект, сменивший интенданта, уже поставлен в тесные границы повиновения закону. Но министр, истолкователь закона префекту, еще сохранил значительную долю произвола. Кому же неизвестно, что со времен Реставрации идет во Франции вопрос о распространении на центральную власть, на министров, того же принципа, которому уже подчинились областные власти? Дело это трудное, времени требует оно много, представляет длинный ряд временных неудач, перемешанных с успехами (неудач не столько по сущности, сколько по форме: при орлеанской монархии ответственность министров была больше пустою формою, на деле они пользовались произволом, разве немногим меньшим, чем при Второй империи). Что ж такое, эта медленность, эти редидивы — неизбежная принадлежность всякого важного исторического дела. Но уже видно, что и у министров во Франции скоро будет отнят произвол; тогда исчезнет и централизация. Уже очень заметно развивается во Франции тенденция к самоуправлению, или, по французскому термину, к децентрализации. Токвиль ничего этого не умел разобрать, все перепутал, и вышло у него, что демократия и централизация — одно и то же. Точно таким же манером другие господа отождествляют грамотность с мошенничеством, цивилизацию — с развратом и тоже очень горюют бедняки, подобно Токвилю: сами видят, что избежать прогресса нельзя, и пугаются, что прогресс ведет к такой ужасной безнравственности.

Но о Франции еще простительно близорукому говорить подобный вздор; а какими судьбами можно домечтаться до того, что ведет демократия к централизации в Америке, — мало того, что она уж развила очень сильную централизацию в Америке? Ведь каждому известно, что параллельно развитию демократических учреждений там шло и именно от их развития происходило уничтожение всего, сколько-нибудь похожего на централизацию. Была тут, разумеется, борьба, а в борьбе неизбежна крайность, потому торжествующая демократия переступила наконец всякую полезную границу в развитии самоуправления: дошло до того, что

общая государственная власть не могла вмешиваться в междоусобные войны, происходившие в отдельных штатах и территориях. Например, в Канзасе бог знает сколько времени резались между собою приверженцы и противники невольничества, а центральная власть не могла принять действительных мер к прекращению междоусобицы. Что делать, нужно принципу совершенно утвердиться прежде, чем прекратится для него нужда в крайнем напряжении, превышающем нормальную меру общественной пользы.

Много лет спустя после того, как писал свою книгу Токвиль, началась эта эпоха в Америке. Противники полного развития демократических учреждений, называвшиеся вигами, были окончательно побеждены демократической партией около 1845—1848 гг. Тогда демократическая партия, оставшись бесспорной властительницей национальной судьбы, стала сама разделяться на две части: одна половина, сохранившая прежнее имя демократов, удовлетворялась приобретенным успехом и не видела надобности в дальнейшем улучшении общественного устройства. Другая половина, принявшая имя республиканцев, находила, что те же самые принципы, которые получили полное торжество в общем государственном устройстве всей страны, должны быть применены и к устройству гражданского быта во всех частях страны, между тем как до сих пор сохранялись на Юге гражданские учреждения, несовместные с общими политическими учреждениями. На Юге существовало средневековое учреждение невольничества; на нем опиралось гражданское устройство общества, совершенно противоположное принципам политического устройства. Все прогрессивные люди постепенно перешли в эту новую партию, а все гнилые элементы пристали к обломку прежней демократической партии, сохранившему за собою прежнее имя, но от этих нечистых примесей все сильнее и сильнее пропитывавшемуся духом, противоположным духу прежней демократической партии. Наконец дошло дело до того, что эти гнилые элементы, сгруппировавшиеся под именем нынешней так называемой демократической партии, сознали невозможность для себя жить при существующих учреждениях Северо-Американского Союза и решились сделать отчаянную попытку для их низвержения. Масса партии, называвшейся демократическою, состояла из людей недалековидных, жертвовавших всем, чтобы отказывались от своих угроз авантюристы и олигархи, пугавшие неизбежностью междоусобной войны в случае, если противники их одержат верх в правильной организации правительства. Их наглость становилась тяжела, так что масса начала покидать их. Тогда они подняли войну, и теперь, как знает читатель, Северная Америка представляет зрелище междоусобицы, какой со времен Фронды не бывало даже во Франции⁵, которой Токвиль указывал на Америку, как на примерную страну тишины.

Исход этой междоусобицы не подлежит сомнению: южные олигархи и авантюристы слишком слабы, и поражением их начнется новый период в истории Соединенных Штатов, — период преобразования гражданского быта в тех частях страны, где был он несообразен с общими принципами американского устройства. В этом деле здоровые элементы населения южных штатов, конечно, будут получать помощь от всей нации, и посредницею в передаче пособия, вероятно, будет союзное правительство, так что круг его деятельности несколько расширится. Но мы видим по началу дела, в каком духе будет ведено оно, — он не имеет ни малейшего сходства с централизацией, а прямо противоположен ей: северные штаты вооружились и ведут войну по принципу самоуправления. Союзное правительство руководится решениями местных народных митингов, получает средства к войне от местных комитетов, составившихся из выборных от населения, по собственной инициативе положившего основать такие комитеты; словом сказать, в этой войне северо-американский принцип выказался в такой безусловной последовательности, как еще никогда ни по какому делу. Наверное можно сказать, что по окончании войны, когда через посредство союзной власти будут совершаться реформы гражданского быта в южных штатах, союзное правительство будет действовать также только по указанию общественной инициативы и в полной зависимости от нее, так что и в самом исполнении дела сильнее прежнего разовьется северо-американский принцип, противоположный централизации; а про результаты дела нечего уже и говорить: оно все имеет своею целью очищение северо-американского общества от последних остатков устройства, несогласного с его коренным принципом.

Таково нынешнее северо-американское дело. Но кто нимало не поймет его натуры, может воображать, что оно так или иначе послужит к появлению некоторой централизации. Ведь войну все-таки ведет союзное правительство против конфедерации нескольких областей; эти области присваивают себе право на самостоятельность в таком размере, в каком не допускает его союзное правительство; стало быть, может показаться иному, что борьба идет между центральной властью и местным самоуправлением; что неизбежная победа центральной власти послужит к ее усилению, к уменьшению областного самоуправления. Если б Токвилль ныне писал о наклонности американской демократии к централизации, он ошибался бы полнейшим и грубейшим образом, но его ошибка все-таки была бы понятна. Другое дело подобная мысль в книге, писанной около 30 лет назад, когда не было ровно ни одного факта, который хотя самому поверхностному и незнающему человеку мог бы показаться ведущим к централизации или похожим на нее. Ошибочно, но понятное мнение человека, принимающего кита за рыбу; но как же принимать за рыбу быка или лошадь? Поэтому необыкновенно забавно читать

философствования Токвиля о наклонности американцев и вообще демократических обществ к централизации. Кто не читал его книгу, наверное предположит, что мы выдумываем на него; такому скептику возразим заглавиями целого большого отдела из второй половины сочинения Токвиля. «Часть IV, гл. 2. Понятия демократических народов о правительственных делах естественно расположены к централизации власти. Глава 3. Чувства демократических народов, согласно с их понятиями, влекут их к централизации власти». Еще несколько других глав посвящено тому же предмету. Он так курьезен, что любопытно будет читателю взглянуть на некоторые образцы рассуждений знаменитого автора.

«Понятие второстепенных властей, посредствующих между верховною властью и подданными (говорит Токвиль), естественно представлялось воображению аристократических народов, потому что в недрах их были отдельные лица или фамилии, возвышавшиеся над другими знатностью, просвещением, богатством и казавшиеся предназначенными к власти. Эта идея естественно исчезает из мысли людей в века равенства по причинам, противоположным тому. Ввести ее в их мысли можно только искусственно, поддерживать в них лишь с большим трудом, между тем как возникает в них сама собою идея единственной и центральной власти, которая сама руководит всеми гражданами».

Чудак не понимает, что в первую половину своего рассуждения сам вставил слова, показывающие совершенный недостаток логики во второй половине его. Ведь сам же он сказал, что в аристократических обществах второстепенные власти попадают в руки людям по знатности, богатству, то есть не по выбору сограждан, а по прирожденному праву известного человека или рода иметь в руках власть. Хочет он судить о демократическом народе по закону контраста; какой же контраст выходит из его собственных слов? Какие из этих слов ищут себе противоположности во второй половине периода? Тут не по выбору, а по прирожденному праву; там — наоборот, значит, по выбору, а не по прирожденному праву. Пускается человек философствовать, а не знает, что если к существительному прибавлено прилагательное, то в контрасте отрицание будет относиться не к существительному, а к прилагательному, или если общее понятие выставлено с частным признаком, то отрицание в контрасте будет относиться к частному признаку, а не к общему понятию. Например, если вы уже сказали: добрый человек, или человек в хорошей одежде, то противоположность будет: злой человек, или человек в дурной одежде, а не то, что противоположность доброму человеку составляет птица, или человеку в хорошей одежде — пустыня. Чтобы во второй половине периода вышло «пустыня», «отсутствие человека», в первой половине периода нужно сказать просто человеческое общество, без всяких частных признаков. Если бы можно было сказать, что второстепенная власть неспособна иметь

никакого другого происхождения, кроме родового, другого источника, кроме патримониальных или вотчинных прав, тогда с их отрицанием отрицалась бы и второстепенная власть; а если бы вают и другие источники второстепенных властей, кроме патримониального, то отрицание феодализма — вовсе не централизация. Вот кого, Токвилля, должны были бы учить логике «Русский вестник» с г. Юркевичем. Жаль, что умер бедняжка до появления статьи г. Юркевича и до перепечатки ее в «Русском вестнике»⁶. Хотите ли еще образцов философствования о наклонности американцев к централизации?

«Американцы полагают, что общественная власть должна происходить прямо от народа; но как только раз установлена эта власть, они уже думают, что она не должна иметь никаких границ; они охотно признают, что она имеет право делать все».

Это уж такая диковинка, до какой, вероятно, тяжело было дофилософствоваться и самому Токвилю. Что за ахинея? Кому же неизвестно, что решительно всякая власть в Америке чрезвычайно ограничена? Президент, например, не может ровно ничего важного сделать без утверждения сената. Сенат ровно ничего не может сделать или без президента, или без палаты представителей; палата представителей ровно ничего не может сделать без сената. Значит, из трех отраслей союзной, исполнительной и законодательной власти каждая сама по себе не то чтобы имела неограниченную власть, а ровно никакой независимой власти не имеет. Или все три отрасли эти вместе имеют неограниченную власть? Помилуйте, ведь известно, что сфера действий союзного правительства чрезвычайно точно определена очень узкими границами. Конгресс вместе с президентом не может, например, издать хотя бы того закона, что за воровство у частного человека вор подвергается тому или другому наказанию; союзная власть может рассуждать лишь о краже имущества, принадлежащего союзному правительству; кража частной собственности — преступление, над которым ни конгресс, ни президент, ни конгресс вместе с президентом не имеют никакой власти. Эти дела подлежат власти отдельных штатов; и если бы какой-нибудь штат вздумал решить, что вор не подвергается никакому наказанию, воровство частной собственности и оставалось бы в этом штате безнаказанным, и союзная власть ничего не могла бы тут сделать. Точно таково же отношение властей отдельного штата к властям составляющих его графств, а этих властей — к властям городов и других общин, составляющих графство. Если бы, например, какое-нибудь графство решило вовсе не иметь у себя больниц или какой-нибудь город решил вовсе не иметь школ, никакая власть в Соединенных Штатах, — ни власть штата, ни власть союзного правительства, — ничего не могла бы тут сделать. Или, по крайней мере, городские и общинные власти не так строго ограничены? Помилуйте; да каждый городской или об-

динный чиновник первым встречным может быть предан суду за малейшее превышение власти, ему определенной. С чего же это вздумалось Токвиллю вообразить такую нелепицу, что «раз установленная власть признается в Америке безграничной», когда там все власти гораздо строже и теснее ограничены, чем в самой Англии?

Он до того спутался своею мечтою о тождестве централизации с демократиею во Франции, что в некоторых чертах американского порядка, прямо противоположных централизации, увидел централизацию. Форма действий централизации — бюрократия, подавание обо всем рапортов с испрашиванием на все разрешений и предписаний. Во Франции, например, если в каком-нибудь общественном здании — в больнице, в школе — понадобится заменить обветшавшую раму в одном окне новой рамой, и если начальник этого здания, положим, больницы, не захочет поступить противозаконно, он подает рапорт подпрефекту, что вот такая надобность представляется; подпрефект посылает от себя рапорт префекту с приложением рапорта начальника больницы; префект дает предписание архитектору освидетельствовать раму и, получив от него рапорт, посылает от себя рапорт министру с приложением рапорта архитектора и предшествовавших ему рапортов подпрефекта и начальника больницы; министр, взвесив все обстоятельства дела, посылает префекту предписание: «переменить раму в таком-то окне такой-то больницы», префект посылает предписание подпрефекту: «в таком-то окне такой-то больницы переменить раму»; подпрефект дает предписание начальнику больницы: «в таком-то окне вашей больницы переменить раму»; начальник больницы дает предписание эконому больницы: «в таком-то окне нашей больницы переменить раму». Эконом переменяет раму и вручает начальнику больницы рапорт: «такая-то рама в нашей больнице переменена»; начальник больницы пишет рапорт подпрефекту, и опять идет ряд этих новых рапортов до министра по всем ступеням прежней градации.

В Америке ничего этого нет, потому что нет бюрократии, а бюрократии нет потому, что нет централизации. Там, избирая чиновника или правителя, говорят ему: «по вашей должности возлагаются на вас такие-то и такие-то обязанности и предоставляются такие-то и такие-то средства к их исполнению; исполняйте же вашу должность. О чем не стоит спрашивать ни у кого, о том не спрашивайтесь ни у кого; если слишком часто будете спрашиваться, это значит, что собственный рассудок у вас плох. За всякое превышение власти может вас подвергнуть суду каждый, и всегда найдется множество людей, которые найдут это нужным, чтобы не потерпеть убытка или неприятности от вашего произвола. Если дело, вам поручаемое, будет идти неисправно, вы будете сменены без наказания или с наказанием, смотря по характеру неисправности; а каждую неисправность вашу готовы будут

обнаружить сотни людей, чтобы не потерпеть от нее убытка или вреда». Вот положение американского чиновника или правителя: в кругу исполняемых им обязанностей он совершенно самостоятелен, под ответственностью пред судом за всякое неправильное действие. Разрешений и предписаний на всякие пустяки он не спрашивает и не получает.

Теперь вы понимаете, какая штука произошла в расстроенных мыслях Токвилля. Он — либерал, страшный либерал (только свобода книгопечатания не совсем ему нравится, что он просто-душно и объясняет в главе об этом предмете); он — страшный враг централизации, но не может он себе представить законного хода дел иначе, как в бюрократических формах: где их нет, там, по его мнению, произвол, деспотизм; а деспотизм и централизация, по его мнению, это все равно; таким-то манером и открыл он в Америке и централизацию, и безграничную власть в каждом чиновнике и правителе. Вообще, где коснется дело централизации, он всегда рассуждает в следующем роде: лошадь имеет склонность ходить на двух ногах; пернатое животное, которое несет такие вкусные яйца и высиживает из них цыплят, ходит на двух ногах; следовательно, лошадь имеет сильную склонность быть курицей. И силлогизм хорош, да и факт подмечен очень верно и тонко: ведь лошадь действительно иногда становится на дыбы, иногда бьет задними ногами; в том и другом случае она стоит только на двух ногах.

Несчастный Токвиль, не распространялись бы мы об этой твоей слабости, если б не читали на возлюбленном своем родном языке рассуждений о связи централизации с демократиею. Эти рассуждения имеют свойство восхищать нас, как невинный лепет наивных сердец, прекрасных и чистых, как прекрасно и чисто было сердце почтенного Токвилля. «Нивелирующая сила централизации», «демократическая диктатура, подавляющая олигархию бюрократию», «государственное начало, подавляющее противогосударственные элементы и сохраняющее нацию от распада, страну — от чуждого завоевания», и т. д., и т. д. Нам наскучили эти фразы, затуманивающие здравый смысл общества, и на бедном Токвилле хотели мы показать, с какой логикою строятся силлогизмы, с какою верностью понимаются факты, из которых извлекаются такие диковины. Если бы не наши любезные соотечественники, твердящие ту же песню, за что было бы нам так желчно разбирать слабости Токвилля? Он не сделал нам никакого вреда. Другое дело, если б мы были французы: тогда помнили бы мы, что Токвиль с либералами и демократами, подобными ему истостью понятий и сообразительностью, наделал много, очень много вреда Франции. Кто, как не эти люди, поднимал в критическое время вопли против всяких мер удовлетворения национальным требованиям? Кто, как не они, довел тогда дело до страшной резни июньских дней? Кто, как не они, бро-

сил в реакцию, из которой естественно уже развилась система, не поцеремонившаяся и с ними? ⁷ Без них, без этих людей, так прочно и добросовестно утвердивших за собой репутацию либералов и демократов, реакционеры были бы бессильны. И вот теперь они опять либеральничают и демократничают, и Европа с умилением читает Беррье и Одилона Барро, Оссоновилля и Гарнье Паже ⁸, все тут есть: и легитимисты, и орлеанисты, и республиканцы, и все одинаково хороши. Отлично устроят они Францию, если опять попадется им власть, всем ли вместе или какому-нибудь одному из них, все равно.

Впрочем, должны мы признаться, — жаль, что несколько поздно делаем это признание, — что вовсе и не было нам надобности говорить что-нибудь против мнения о наклонности американской демократии к централизации. Мы заглянули в отдел книги Токвилля, озаглавленный: «Некоторые соображения о настоящем положении и вероятной будущности Соединенных Штатов», и, просмотрев эти страницы, убедились, что Токвиль никак не мог говорить ничего подобного тому, что мы опровергали. В главе, на которую переходит теперь наше внимание, он рассказывает, что при быстром расширении Соединенных Штатов очень может возникнуть в разных частях этой страны стремление отложиться от других, чтобы стать совершенно независимыми государствами; или, по крайней мере, отдельные штаты будут стремиться к увеличению своей самостоятельности насчет союзной власти. Слушайте же, что говорит наш автор.

«На первый взгляд кажется, что Союзу дано больше прав верховной власти, чем оставлено за отдельными штатами. Всмотревшись в дело несколько ближе, мы увидим противное». Токвиль доказывает, что правительство отдельного штата сильнее союзного правительства, и перечень доказывающих это фактов заключает словами: «о разнице сил союзного правительства и правительства штата легко можно судить по характеру действий того и другого в кругу его власти. Когда правительство отдельного штата обращается к его населению, его язык ясен и повелителен. Когда союзное правительство обращается к штату, оно ведет с ним переговоры: излагает причины своих действий, оправдывает их, рассуждает, советует, а не приказывает. Если возникает сомнение о том, где граница между властью Союза и штата, правительство штата выражает свою претензию смело, принимает быстрые и энергические меры для ее поддержания. А союзное правительство рассуждает, обращается к здравому смыслу нации, к ее выгодам, ее славе, медлит, ведет переговоры и лишь в последней крайности решается, наконец, действовать. Союзное правительство по самой своей натуре — правительство слабое, более всякого другого нуждающееся для своего существования в свободном содействии управляемых. Если бы союзная власть вступила в борьбу с правительством штата, легко предвидеть, что она была

бы побеждена. Я не полагаю даже, чтобы могла когда-нибудь завязаться эта борьба серьезным образом». (Нынешние американские события свидетельствуют о предусмотрительности Токвиля.) «Как только штат противопоставит союзному правительству упорное сопротивление, союзная власть всегда уступит. Опыт доказал, что когда отдельный штат упорно желал и решительно требовал чего-нибудь, он всегда одерживал верх. А если б союзное правительство и имело силу, ему очень трудно было бы воспользоваться ею по физическому положению страны. Она занимает огромную территорию, расстояния в ней далекие, население рассеяно по местностям, наполовину еще пустынным. Если бы Союз захотел поддержать свои права против отдельного штата оружием, он стал бы в положение, подобное тому, в каком была Англия, ведя войну с американскими колониями. Притом же союзное правительство, если б и было сильно, не могло бы отвести последствий принципа, который само принимает за основание государственного права. Союз составил по свободной воле штатов». После этого Токвиль рассматривает, может ли союзное правительство, слабое само по себе, склонить отдельные штаты пособить ему в борьбе с непокорным штатом. Он находит это невозможным: ни один штат не захотел бы поддерживать союзную власть в таком столкновении, — нынешними событиями отлично подтвердилось и это. «Потому несомненно кажется мне (продолжает Токвиль), что если бы какая-нибудь часть Союза серьезно захотела отделиться, союзная власть не только не могла бы воспрепятствовать ей в том, но даже и не сделала бы попытки к тому» (как и видим теперь). Токвиль рассматривает, вероятен ли тот случай, чтобы какая-нибудь часть Союза захотела отделиться от него, и находит это невероятным, — опять, какая верная предусмотрительность! Ну, кроме этого невероятного, по его мнению, шанса, существует, по его словам, другой шанс гибели для союзной власти. — «Союзное правительство может постепенно терять силу от тенденции всех отдельных штатов к возвращению своей независимости. Поочередно лишившись всех своих прав, будучи доведено до бессилия этою общею тенденциею, центральное правительство станет неспособно исполнять свое назначение, и Союз погибнет». Этот шанс, по мнению Токвиля, не только вероятен, а уже осуществляется; это уже не шанс, а факт. «Американцы, очевидно, проникнуты сильным опасением (говорит Токвиль): они видят, что у большей части других народов права верховной власти сосредоточиваются все в меньшем и меньшем числе рук (у каких же это других народов видят такой небывалый факт американцы? — могли бы мы спросить Токвиля; но все равно: пусть полагает он, что американцы видят, чего не видят; мы теперь только хотим знать его взгляд) и пугаются мысли, что может тем же кончиться и у них. А централизация в Америке непопулярна, и ничем нельзя так ловко

полюстить большинству, как нападениями на центральную власть. Потому сами государственные люди у них разделяют или при- творяются разделяющими эту боязнь. Мне кажется она совершенно фантастична. Я вовсе не того опасуюсь, что власть центрального правительства будет крепнуть, — я нахожу, напротив, что она заметным образом слабеет. Чтобы доказать это, мне не нужно ссылаться на давнишние факты; довольно будет указать на факты, происходившие при мне или в наше время: каждый раз, как права центральной власти встречались с претензиями отдельных штатов, права эти уменьшались». Токвиль приводит факты, подтверждающие этот вывод его, и продолжает: «да, или я слишком грубо ошибаюсь, или союзная власть в Соединенных Штатах с каждым днем слабеет; все меньше и меньше вмешивается она в дела, все теснее и теснее становится круг ее действия. Слабая и по своей природе, она уж отказывается даже от видимых форм силы. А в отдельных штатах чувство независимости становится все живее, любовь к местному управлению все сильнее. Хотят, чтобы существовал Союз, но чтобы он был только тенью Союза. Я не вижу в настоящем ничего, чем могло бы остановиться это общее движение умов; причины, его породившие, продолжают действовать в том же направлении. Следовательно, оно будет продолжаться, и можно предсказать, что если не явится какое-нибудь чрезвычайное обстоятельство, то союзное правительство с каждым днем будет ослабевать».

Мы краснеем за себя, мы жизни не рады, что несколькими страницами выше приписали Токвилю мнение, будто бы централизация в Америке усиливается. Как грубо мы ошиблись! Теперь этот промах наш можно уличить даже и без помощи г. Юркевича. Возможное ли дело, чтобы писатель, так упорно твердящий на приведенных нами страницах о постоянном, ежедневном ослаблении центральной власти в Американском Союзе, доказывал, что она усиливается? Нет, мы или не потрудились хорошенько познакомиться с его мыслями, или нагло исказили их, когда выставляли его думающим, будто развивается в Америке централизация. В какую беду мы попали, как будут торжествовать люди, любящие изобличать наше невежество и нашу недобросовестность! Пересмотрим повнимательнее отдел о централизации, что бы поскорее обнаружить перед самими собой свою ошибку и вычеркнуть бедственные для нас страницы, написанные под ее влиянием. Раскрываем же отдел о централизации. Вот она, глава 2-я IV книги. Читаем:

«Понятие второстепенных властей, посредствующих между верховною властью и подданными, естественно представлялось воображению аристократических народов», и т. д. — Что за чудо! — ведь действительно в книге Токвиля напечатано все это рассуждение, которое мы приписывали ему; но, может быть, по этому отрывку еще нельзя судить; будем читать дальше.

«В политике ум демократических народов с восхищением принимает простые и всеобщие идеи. Многосложные системы неприятны ему; ему нравится мысль, что всеми гражданами великой нации управляет только одна власть. В аристократические века эта мысль чужда человеческому уму. Он не принимает или отвергает ее. По мере того, как положение людей в известном народе уравнивается, значение отдельного человека все уменьшается, а значение общества все увеличивается; или, лучше сказать, каждый гражданин, став подобен всем другим, теряется в толпе, и остается только широкая идея самого народа. От этого у людей демократических времен естественно является очень высокое мнение о привилегиях общества и очень низкое понятие о правах отдельного лица. Они легко соглашаются, что власть, представительница общества, далеко превосходит знанием и мудростью каждого из людей, составляющих общество, и что она имеет и право, и обязанность брать каждого человека за руку и вести его, куда хочет». Да, действительно Токвиль доказывает, что американцы непременно должны все больше и больше впадать в централизацию. Но нет, быть может, мы ошибаемся в этом заключении, быть может, он говорит только о демократических народах вообще, а не об американцах в особенности: ведь прямо нам еще не попадалось у него слово «американцы» и нас могут изобличить в опрометчивости суждений. Надобно читать дальше.

«Американцы полагают, что общественная власть должна происходить прямо от народа; но раз установив» и т. д. Опять знакомое место; но, быть может, мы не поняли его тогда? Будем же читать дальше.

«Люди, живущие в демократических странах, не любят почитать своих частных дел для занятия общественными делами. Они имеют естественную склонность отдавать общественные дела на заботу государству. У них нет охоты, часто нет и времени заниматься общественными делами. Любовь к общественному спокойствию часто остается у демократических народов единственной политической страстью, и она становится у них тем живее и сильнее, что все другие страсти слабеют и умирают; это естественно располагает граждан беспрестанно давать все новые права центральной власти, которая, по их мнению, одна имеет интерес и силу защищать их от анархии. В века равенства каждый слаб; при своей слабости он естественно обращает взоры на неизмеримое существо, которое одно возвышается среди всеобщего понижения. Нужды и желания беспрестанно заставляют человека обращаться к помощи этого существа (то есть общественной власти или центрального правительства), и он кончает тем, что видит в нем единственную и необходимую опору своей индивидуальной слабости». «Смотри примечание к этой странице в конце тома», — прибавляет Токвиль. Хорошо; смотрим примечание; в нем написано: «В демократических обществах только

центральная власть имеет прочность. Следовательно, трудно не иметь ей успеха в стремлении постоянно расширять свою сферу, потому что она с неизменной мыслью и постоянной волей действует на людей, положение, мысли и желания которых изменяются ежедневно. Таким образом, у демократического правительства круг действия расширяется уже тем самым фактом, что оно продолжает существовать. Время работает в его пользу; все случайности обращаются в его пользу; отдельные люди своими страстями помогают ему даже и без собственного ведома. И можно сказать, что оно становится тем более централизовано, чем старше становится демократическое общество». Прочитав примечание, возвращаемся к тексту. «Ненависть к привилегиям, одушевляющая демократические народы, чрезвычайно благоприятствует постепенному сосредоточению всех политических прав в руках одного лица, представляющего собой государство». И т. д., и т. д.

Мы извлекли существенные мысли только из шести страниц французского подлинника в нашем издании, а материя эта тянется на нескольких десятках страниц; каких удивительных соображений нет на этих страницах! К чему ни приложит Токвиль слово «демократический», все оказывается ведущим к централизации. Надобно полагать, что даже и реки в демократических странах несут людей к централизации, и ветер гонит их к централизации, и нюханье табаку (если они нюхают табак) влечет их к централизации; да оно в самом деле так и должно быть: реки, например, все вливаются друг в друга, маленькие в большие, большие в еще большие, а потом, слившись между собой, все сливаются в общий центр вод, море: это явно возбуждает в людях мысль о централизации. Ветер дует больше все в одном направлении — положим, в юго-западном; значит, все и несется ветром в одну сторону, сваливается все в кучу и в кучу, — опять явно располагая людей думать о централизации. Нюхательный табак производит во всех нюхающих его одинаковое щекотанье носовых нерв — значит, и от этого люди все больше и больше располагаются чувствовать одинаково; а от одинаковости чувств недалеко до централизации, как доказывает Токвиль. Но мы еще не имеем достаточно доказательств, что все его соображения такого рода относятся к американцам. Правда, это ясно само собой; правда, мы уже приводили одно место, показывающее, что при всех этих рассуждениях имеются в виду американцы; но одного места нам мало. А вот и другое, после которого не остается сомнений. Изложив соображения, нами приведенные, и множество других, Токвиль обращает свои взоры на Европу и говорит:

«Европейские демократические нации имеют все общие и постоянные тенденции к централизации власти, сверх того, подвержены многим второстепенным и случайным влияниям, которые незнакомы американцам».

Теперь уж не остается никакого сомнения; даже и при помощи г. Юркевича нельзя будет найти наше заключение опрометчивым: очевидно, что Токвиль применяет к американской демократии все предшествующие мудрые соображения, нами сообщенные читателю.

Спрашивается теперь: как мы должны думать о Токвиле? Мы видели, что книгу свою он писал с превосходнейшим намерением; надобно прибавить, что фактическая сторона в ней — изложение законов Соединенных Штатов — хороша; можно, пожалуй, и кроме того найти в ней много страниц, полезных и писанных как будто неглупым человеком; все так, и хорошего в книге довольно, и полезного немало, — но об авторе-то как вы станете думать, и какой вес могут иметь мнения подобного мыслителя? У автора в голове такой сумбур, что никакой нет возможности придавать хотя бы самое маленькое значение образу его мыслей: помилуйте, да ведь и разобрать нельзя, какого он образа мыслей, — в одном случае так ему покажется, в другом — совершенно наыворот. Ослабевает или укрепляется центральная власть в Американских Штатах? Падает она перед местными властями отдельных штатов или они поглощаются ею? Извольте сказать, как думает об этом Токвиль? Невозможно без смеха слышать мнения, выраженные им об этом вопросе в двух разных отделах одной и той же книги.

А писатель он знаменитый, признан за авторитет всей образованною Европою, прославлен и в нашей литературе. Мы сначала и хотели было уважить авторитет, — сами вы видите, статья наша начата с почтительностью; но мы ли виноваты, что не оказалось никакой возможности продолжать ее в том же тоне?

Конечно, бедный Токвиль уж слишком откровенно выложил перед нами нескладицу своих мыслей. Не у всякого подобного ему сумбурного писателя найдете вы такую основательную и подробную двуголосицу, как у него по вопросу о централизации в Америке. Но ведь если иной и осмотрительнее Токвиля слышит разные главы и страницы своего произведения, чтобы не попасть в такое открытое и длинное противоречие с самим собою, то характер его мыслительных способностей от этого лишь несколько затуманивается, а не исправляется. Возьмем в пример целую школу, любящую у нас рассуждать о том же предмете, на котором так отличился Токвиль.

Если 6 люди, превозносящие историческую пользу централизации и необходимость ее в настоящем, были реакционеры, их взгляд на централизацию был бы очень логичен. Но нет, они — друзья прогресса, и от этого никак нельзя примирить с здравым смыслом их мнение об элементе, занимающем их так много. Надобно сказать, что все они — люди из числа самых образованных у нас, а представители их школы в литературе — замечательные ученые; будь они — люди незнающие, ошибка была бы извини-

тельна; а при качествах, которыми они отличаются, она очень странна.

Те представители школы, которые заслужили известность научными трудами, занимаются преимущественно русской историей. Они пишут многотомные сочинения и превосходные статьи, подвигающие науку вперед более или менее удачною разработкою фактов; и замечательнейшая вещь здесь та, что каждый излагаемый ими факт явно противоречит выводу их о полезной роли централизации. Начинают они находить ее полезной с самого же первого ее возникновения. Она, по их мнению, дала великорусскому племени государственное единство и освободила восточную половину нынешней России от татар. От чего же произошло раздробление восточной России на мелкие государства и чем оно поддерживалось? Не от географических условий страны произошло оно: вся страна составляет одну местность, не имеющую никаких естественных перегородок, через которые трудно было бы перебраться государственному единству. От Новгорода до Твери, от Твери до Москвы, от Москвы до Нижнего в одну сторону, до Орла в другую — точно такой же путь, какой от каждого из этих городов до ближайших к нему мест: путь совершенно открытый. А между населенными этими областями нет и не было никакой важной разницы по отношению к идее общей народности: в каждом из них всегда владычествовала мысль об одноплеменности своей с остальным великорусским населением. Значит, не было ни физических, ни народных причин возникнуть или удерживаться раздроблению. Оно возникло просто только от того, что население было малочисленно и грубо. По малочисленности своей оно было рассеяно слишком бессвязно: одна группа его разделялась от другой пустынею. По грубости своей оно не могло установить таких форм администрации, которыми удобно соединялись бы области, далекие одна от другой: ведь известно, что обширные государства для прочности своего существования требуют некоторой цивилизации народа, а без нее едва успеет основаться что-нибудь большое, как тотчас же ломается. Значит, чем же должно было прекратиться раздробление великорусского племени? Размножением его, чтобы не оставалось слишком обширных пустынь между его частями, и развитием хотя некоторой цивилизации.

Первое условие понемногу возникало само собою, силою естественного закона: люди размножались, потому что земледельческое население не может не размножаться, пока есть пустая земля. Централизация ничем тут не помогала судьбе России. А развитие второго условия всего сильнее задерживалось соседством хищнических азиатских орд: печенегов, половцев, татар. В Новгороде, далеком от них, гражданское развитие шло успешно. В других областях мешали ему их набеги. Какою силою устранено было это препятствие? Двумя обстоятельствами. С одной

стороны, русский народ размножался — значит, с каждым поколением имел все больше силы останавливать набеги, а потом и теснить назад хищных дикарей, отбивать у них одну полосу земли за другой. С другой стороны, сами эти дикари слабели, хилели, вымирали. Ведь известное дело, что если кочевые варвары захватят удобный для земледелия край в соседстве земледельческого народа, они после первого своего наплыва начинают быстро исчезать с почвы, для них несродной, из соседства людей, которые крепче их срастаются с землею и захватывают своими крепкими корнями все дальше и дальше по краям своих поселений землю, удобную для их дела — хлебопашества. Номады способны держаться против расширения земледельческого народа лишь в своих родных степях, неудобных для земледелия, в какой-нибудь Аравии или в пустынях от Каспийского моря до Кореи. Это вторая, громаднейшая родина номадов и была морем, из которого выливались наводнения, мешавшие великорусскому племени. Как и что делалось в монгольских степях, чем выталкивались из них стремительные потоки хищнических орд на запад, это все равно для нас; но мы видим, что после Тамерлана не выходили из монгольских и туркестанских степей новые орды на запад; да и тамерлановы орды едва-едва коснулись северо-западных окраин степного пространства, а главным образом устремились на юго-запад и юг, на Азию, а не на Европу. Последний напор дикарей Средней Азии на Европу был при Чингизхане, когда и наводнена была степными хищниками не одна великорусская земля, а вся средняя полоса Восточной Европы. После первого натиска, достигавшего Моравии, дикари, по естественному закону, о котором мы говорили, начали отступать назад, покидая потопленные земли: из Западной Европы они отхлынули тотчас же; поляки избавились от них очень скоро; после этого пришла очередь монголам ослабеть в своих набегах на западную Русь, а там стали слабеть они и в набегах на восточную. Это отступление их гибельного тяготения происходило само собою, как сбегает волна, нахлынувшая на берег: ей неловко держаться на месте, ею захваченном, лишь от чрезвычайного волнения моря, ее выбросившего. Как избавилась от монголов Польша, точно так же через несколько времени должна была избавиться от них и великорусская земля: естественным упадком силы в номадах на земледельческой местности. Оно действительно так и было: около времен Мамая кипчакские татары сохраняли только тень своей прежней силы; и упадок этот произошел по внутреннему закону их собственной жизни, а не от борьбы с великоруссами, которые до Куликовской битвы, конечно, ничего не сделали во вред татарам.

Нашествие Мамаю было уже предсмертною конвульсиею умирающего зверя; полчища Мамаю могли составить разве один отряд в ордах Батыя. Что они были не бог знает как многочис-

ленны, видим из того, что они все могли сосредоточиться на одном Куликовом поле. При Батые было не так: орды одновременно шли по многим направлениям, захватывали чрезвычайно длинную линию своим фронтом: а тут протяжение фронта их было уже так невелико, что со всей линии собрались они на один пункт. Они уже не могли тяготеть над великорусскою землею; это видно из того, что Тохтамыш быстро очистил ее, хотя нигде не нашел успешного отпора. Что же такое принадлежит делу централизации в очищении великорусской земли от татар? Ровно ничего не принадлежит. Куликовская битва не имела никаких фактических результатов, да и происходила уже в такое время, когда главная часть дела совершилась сама собою: татары совершенно уже охлели. Или придавать какое-нибудь значение неудачному походу к берегам Угры при Ахмате? Действительно, он имеет ту замечательность, что очень ясно обнаружил положение дел: пошли татары на Москву, подумали, подумали, да и вернулись назад: «нет, говорят, уж нехватает силы у нас». Пошла централизация на татар, подумала, подумала, да и побежала назад: «нет, говорит, я татар победить не могу». Чем же были побеждены татары? Собственным одряхлением и размножением русского населения, фактами, происходившими совершенно независимо от централизации.

Таким образом, оба условия, от которых зависело возникновение национального единства, осуществлялись сами собою.

Но по взгляду ученых, о которых мы говорим, централизация не только была необходима для создания государственного единства, она также была нивелирующею силою, действовавшею в демократическом направлении против аристократии. Это еще прелестнее, потому что сами же эти ученые необыкновенно подробно разъясняют, что собственно централизация и создала поместную систему, то есть иерархию более или менее крупных поземельных владельцев, — иерархию чисто феодальную; что собственно централизация и поставила массу населения в крепостное отношение к феодалам, созданным поместною системою; те же самые ученые объясняют нам, как это феодальное сословие было обращено тою же самою централизациею в аристократию более новой формы, чрез постепенное расширение и упрочнение поместных прав и, наконец, чрез признание поместий вотчинами.

Взгляд на централизацию мы взяли только для примера, потому что так оно пришлось ближе всего к примеру бессвязности мыслей, представленному нам Токвиллем. А можно было бы припомнить много несообразностей. Один авторитет провозглашает самостоятельность разума и ужасается, когда вы говорите, что не принимаете фантазий, отвергаемых разумом: по его мнению, наука доказывает истину всех бредней. Другой авторитет называет славянофильство нелепостью и тут же доказывает, что Западная Европа, в особенности Франция, гниет и только сла-

вянское племя, носящее в себе зародыши высшей цивилизации, только одно оно может обновить дряхлеющую Западную Европу. Третий авторитет превосходно рассуждает, что просвещение спасительно, и тут же доказывает, что цивилизация имеет растлевающее свойство. Четвертый авторитет ставит вопрос несколько иначе: полное образование неизмеримо выше невежества, но полуобразованность гораздо хуже невежества, как будто образование — маленький кусочек леденца, который можно проглотить разом, как будто невежда может стать вдруг образован, а не должен перейти на этом пути все степени, в том числе и полуобразованность, и всякие другие доли образованности. Словом сказать, какой авторитет ни возьмете, у каждого находится в образе мыслей какая-нибудь гармония этого сорта, а у иного и по несколько их — да еще таких ли! Ведь мы выбирали противоречия отвлеченные, то есть бледные и сравнительно безвредные. А если обратитесь к авторитетным воззрениям на живые практические вопросы, вас угостят еще гораздо приятнейшими винегретами. Но о них когда-нибудь в другой раз; а теперь досадно и того, если мы успели на Токвилле показать, какую степень вины имеет наша непочтительность к авторитетам, подобным Токвиллю.

Возвращаясь к его книге, надобно, конечно, прибавить, что она сильно устарела: в 28 лет, прошедших с той поры, как она написана, все статистические данные и многие черты быта, разумеется, очень сильно изменились в стране, столь быстро развивающейся, как Америка. Например, он говорит о Нью-Йорке, как огромном городе, имеющем до 200 000 жителей, — теперь в Нью-Йорке около 1 000 000; железных дорог еще не было в Америке, когда он писал; ожесточенной вражды к Северу южные плантаторы еще не имели, потому что на Севере еще не было аболиционизма, — словом сказать, книга Токвилля описывает Америку, почти столь же различную от нынешней, как Россия, описанная Котошихиным⁹, различна от нынешней. Но говорить об этом напрасно, потому что едва ли кто захочет изучать Америку по переводу Токвилля, сделанному г. Якубовичем.